

18+

Олег Фурсин

---

**Сказка  
о семи  
грехах**

Олег Фурсин  
**Сказка о семи грехах**

«Издательские решения»

**Фурсин О.**

Сказка о семи грехах / О. Фурсин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-989529-5

Ощущая некоторую усталость от величавой поступи Рима, загадок Иудеи, фантазии древних греков; от всего того, что прошло, отжило, отцвело, оставив великий след — но все же ушло, обратились к фэнтези. Фэнтези — это жанр, в котором, как оказалось, можно отдохнуть душой, побаловаться, покуражиться. Нам понравилось, можно даже уточнить: увлекло, захватило. Данный результат — перед вами. Сказка из жизни конца первой половины 19 века. Сказка для взрослых, с философским подтекстом в доступном нам объеме.

ISBN 978-5-44-989529-5

© Фурсин О.  
© Издательские решения

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ЧАСТЬ 1                           | 6  |
| Глава 1                           | 17 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 19 |

# Сказка о семи грехах

## Олег Фурсин

© Олег Фурсин, 2020

ISBN 978-5-4498-9529-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Не любо – не слушай, а врать не мешай.*

## ЧАСТЬ 1

### *Предисловие*

Ох, Русь-матушка! Раз взялся за перо, так уж напишу. Как говорят в народе: взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Есть у тебя качество такое, что и грехом не назовешь вроде, а сродни греху, прости уж, родимая: больно ты большая. Не привыкла ты жить в тесноте, Рассеюшка. И уж такая ты разная, при величине своей несоразмерной! Где красавица писаная, где уродлива до безобразия, где богата, где бедна совсем, где поешь, где плачешь. Пойди, пойми тебя, да и всяк-то по-своему видит. И как тут о тебе напишешь?

Вот и я думал, на досуге своем затылок почесывая. Пиши так, как видишь. А видишь ты окрест себя в первую очередь. Село свое, да уезд свой, на крайний случай еще губернию. Вот про них и пиши, коль втемяшилось в голову глупое что...

А что? Места наши не самые у тебя плохие, Рассея, сказал бы я, что хорошие наши места.

Озера да леса, вот что богатство главное наше. А село? А что ж, село как село. Синие Липяги называется село наше, так повелось. Сказывают, были тут когда-то болота, и росли на них липы, как и посейчас растут, вот те и Липяги. Почему синие? Так кто ж его знает? Вот я так думаю: посинеешь от ужаса, как под липами теми с лешим, болотным повстречаешься, аль с водяным. Водяной, он на мельне у мельника нашего сидит, в омуте; раз сам видел, как он игрался. Да вот и русалки тоже ведь. Русалки любят выбраться на высокий берег и, сидя там в лунном свете, расчесывать свои волосы. Лучшая треба русалкам – гребень для волос. Как начнут шалить, плескаться по ночам, прогонят рыбу от сетей, рвут рыболовные снасти. Чтобы их успокоить, им дарят гребень: неженатый парень кладет гребень в нишу под корягой. Но делать это надо очень быстро, чтобы русалка не успела ухватить за руку!

Шучу я, шучу, раз все равно не веришь мне, читатель.

Может, синими они, липы, на излете весны, сквозь небо синее-синее увиделись кому. Или синим вечером тоже синими стояли...

А село наше, оно вроде из разных небольших деревень состоит. Пришли к нам люди из Терехова, поселились тут, стала Тереховка. А в Дубовщине, тут народ из Дубовки. Конечто? Это и вовсе понятно, коль не дурак ты, шутить не станешь по дурацкому случаю. Конечто это болота нашего последнего, тут оно заканчивалось когда-то, да и назвали место Концом, что тут такого? Проулок – тропа, по которой к болоту идти. Лягушевка, опять же понятно, тут лягушки по вечерам соберутся да поют, как умеют. Девки наши лучше, конечно, поют, и тоже вечерами, и каждая из них, как посмотришь, царевна, да не лягушка же! И жаб у нас много, как состарилась баба, так она и жаба. А Грязной, это место самое грязное в селе. Как была тут свалка, так свалка и осталась; ну, стало быть, не везде красоте обретаться, где-то и отхожее место случается...

Окромя лесов, озер и болот, спросишь ты у меня, да девок красных, чего у вас есть еще, чего нет на Руси остальной? Этого-то и у нас хватает!

А чего у нас нет, мил-человек, чего только нет; чего у нас нет, того на Руси уж и не встречается!

Вот на губернской ярмарке, в Воронеже-то, оно все видно; коль интересно тебе, я расскажу. Почитай, пол-России, милоч, нашим рогожным полотном свои товары оборачивает, а оно из липового луба, из «мочала» делается. Вот из наших синих лип. Мешки да кули, да полотно для решет; а деревнях наших им и двери повсюду обивают, чтоб теплее было. Из конского волоса тоже полотно на сито делают у нас, а муку сеют крупчатку [1], конопляное семя, пшено да гречку сквозь него. То-то, что пустяки, да дело-то нужное, вот и сказываю. Лубовые решета да волосяные сита ситники и решетники у нас делают, почет им и уважение, люди они

редкие, народ мастеровой. Цедилки для молока нужны? А леска? Рыбу ловить, силки сочинять; веревку, чтоб удавиться, ту тож еще свить надо. Опять же, вожжи нужны, из конского волоса и плетем.

Теперь смотри, голубок. Пряжу прядем, полотняную да шерстяную. Опосля красим. У меня кушак сохранился, прабабкин еще, в полоску цветную. Могу представить да показать: рассыпается, на нитки делится. Устала ткань-то; людей тех давно нет, кто красил. А цвет живой! Никогда не полиняет, вот на солнце клади, не полиняет. Можно и так сказать, вечный цвет. А потому, родимый, что красили отроду у себя дома. Не заморскими индиго всякими, нет. Вот знаешь ты, что трава змеевик красит в черный, красный и желтый цвета? Конопля да крушина красят в зеленый. А малиновый цвет получается из коры дикой яблони. У нас на улицах в белом-то никого не увидишь. Ты выйди-ка в лето, глянь, по улице нашей как ходят? А вот так и ходят: парни в рубахах да портах, а рубахи красные, малиновые, зеленые, а порты синие! А девки в сарафанах; тебе какие нравятся? Мне-то черные, обрядами цветов украшенные. Как посмотришь, глаз не оторвать. А у каждого мастера печатка-то своя, и не одна, чтоб ткань набить, и уж такое-то узорочье! по-ученому, говорил мне мастеровой из города, «орнамент» называется, ты поищи-ка, попробуй, куда там! Белая холстина, она и скатеркой не пойдет у нас, не по чину нам, родимый!

И опять, есть такое и в остальной России. Наверно, есть. Чего такого, чего нету, дай подумать.

Камень режем. Павловский розовый гранит, слышал? А про Грановитую палату в Москве? Что же, что не из наших Липяг и камень, и мастеровые. Тоже свои резали, отсель не тыща верст, земляки мы.

Дерево режем. Игрушки, солонки, донца, поставцы и божницы, полицы хлебные. Это каждый для себя умеет. А кто больше умеет, тот и блюда распишет, ковши; вырежет тебе и калитку, и птицу сочинит. А как же, петушка на крышу. Что за дом без петушка? Иной еще такой умелец, что петушок у него на ветроуде во все стороны вертится. Да расписан как, не хуже сарафана, что на девке. И зеленое на хвосте, и синее, гребень красный. Не петушок, загляденье!

Вяжем, ткем, вышиваем...

А! вот, погоди, расскажу, чего на Руси не водится, а у нас есть.

Про Бонопарта еще помнят в наших местах. Но то до войны было, тогда про него мужик не слышал. Всё в городе говорили, у помещиков наших тоже. А мужику, оно как всегда, пока гром не грянет, он и не перекрестится, дело известное. Как грянул, так и перекрестились наши. И того Бонопарта перекрестили тоже. Но не про то рассказ веду.

А вот как еще не было войны, а генералы его, Наполеона то есть, к нам заезжали...

Ну, ладно, по правде сказать, один только был, Коленкур по прозвищу. Да и не к нам приезжал генерал. А вовсе в село Семидесятное, к помещице тамошней, Елисейевой [2]. Вера Андреевна, она, матушка, хоть и дворянского роду, а мастерица! Ой-ой!

Пять лет она в руках шаль кашмирскую держала да распутывала ее ниточку за ниточкой. Белыми ручками своими. Глаза все просмотрела. Спину не жалела свою, гнула.

Разгадала, разгадала упрямица, рассекретила матушка все тамошние секреты!

Коленкур к ней приезжал за шалью. Дочка австрийского императора, слышь, запросила шаль, какую Елисейева в мастерской своей выткала. Таковую, чтоб пропустить ее сквозь колечко, она и проскочит, словно нитка в иголку. И чтоб цветами играла, и чтоб, значит, с бахромой по краям. Вот для супруги император и генерала к нам загнал!

Только не досталась ему шаль. Одна и была готовая, а Вера Андреевна тверда как кремень: заказала ту шаль русская княгиня, что в Петербурге самом живет. Ей она и достанется! Так и было, уехал генерал ни с чем. А так ему, генералу! Что ж за Аника-воин такой, что

гоняют его за платочком женским по России? То-то войну Бонапарт Наполеон проиграл, коли Коленкуры – генералы по таким делам им использовались.

Оно, конечно, Нижнедевицкого мы уезду, а семидесятинцы Хохольского. Только опять же, говорю, не тыщу верст. Земляки мы, Воронежской губернии, соседи добрые.

Приезжала к нам Вера Андреевна по прошлой осени, видели ее. Про то отдельный сказ, не враз и расскажетя.

### Сказ

По ту осень случилось в селе нехорошее. Гроза была, да такая уж страшная. И полыхало, и громыхало, и лилось, и стучало градом даже. Не приведи, Господи. И сгорела в ту грозу церковь наша. Деревянный сруб, невелика собою, а опять же, красавица такая, бревнышко к бревнышку, да резьба по дереву, это ж видеть надо было! Вот блонды французские, кружева витые, что на барыньках в Воронеже ныне, на платьях, вставками: ииии! Куда там блондам этим до нашей резьбы! Жаль какая, не передать; то ж деды и прадеды строили-лепили. Икона Богородицы погибла; бабы наши еще и не отрыдали ее. Много она нам хорошего сделала, Всецарица, Неувядаемый цвет, Целительница. Сироты мы теперь, вот как...

А накануне вечером в барском доме, что давно заброшенным стоит, потому как, прости Господи, барин наш давно в Петербурге все, что у него и на нем было... прогусарствовал, так-то! В барском доме поселился некто, новый человек. Нет, я все понимаю, плоды просвещения, ученость и прочее. А мы людишки темные, нам бы сказок послушать, горазды и сами придумывать, потом страшиться по углам-то. И бабы, они, конечно, соврут, недорого возьмут...

А вот только что за блажь такая у человека, ходить повседневно в черном! Да почему ж с людьми не поздороваться, почему отворачиваться надо. И лицо-то нехорошо, цыганского, что ли, роду-племени, смуглое такое; и вечерами только и появлялся, как солнце в леса садится. Да вот Авдотья моя, что по неумению моему в доме прибирается и стготовить мне, бобылю, не ленится, говорит, паленым от него пахнет. А ухмылка еще, как-то на душе от нее противно становится. Нехорошо, очень как-то... не так. Словом, прозвали того человека Чертом.

Ну, не в прямую так звали. Вот и я, разок написал, и хватит. И то для понимания. Не любят у нас поминать лукавого по имени. Ведь назовешь, привяжется, спаси Бог, и уж потом семь бед, а один твой ответ.

Как только не зовут, чтоб не приваждать: чай, не рыба, удочкой опосля не возьмешь. Нечистым, немытиком, некошным, недобриком, грешком, врагом, рогатым, черным, плохим, шишком, окаяшкою...

А у кого любви нет к прозвищам, скажет «Он» или «Тот», многозначительно за спину взглянет: не прячется ли? Воду, коль в чаше открытой была, перекрестит, прежде чем выпить. И рот, чтоб не залетел «Он», тоже крестит истово. Пусть Черным у меня будет, для ясности дальнейшей.

Я-то, прости меня Господь, как с ним столкнулся впервой, так испугался. Уж больно Черт этот похож мне показался на государя-императора. Не нынешнего, а Петра Алексеевича, сиречь Великого. Грозен, темен лицом; неприветлив. Вспомнились Богучар, Бобров да Анна [3]. Булавинские костры. Ахти мне, грешному...

По селу стали говорить, что в дом он никого не берет; никто ему не служит, потому как странными делами жилец барский занимается. Живет один, никто не видел, чтоб в доме кто и бывал. И впрямь не захотел прислуги, я-то из первых рук, от самого знаю: мне отвечал суровый человек, как я ключи отдавал ему: не надобно никого.

А ночами стоны да крики пробиваются из окошек, словно горе горькое кричит, надрывается. И огонь горит круглую ночь; да не лампада, не свеча это, а отсветы будто пламени. Стали бабы говорить, что младенцев ест барский постоялец. Что душегубец он и хриstopродавец, враг рода человеческого. Это уж как водится.

И, говорят, за домом-то барским, что на отшибе, в отхожем месте косточки нашли, мелкие, хрупкие, младенческие. Спрашивал я у баб: отчего не куриные, например, или поросятина тож. Потому что Черт, отвечают. Что ему поросятина да курятина?

Головой качают, осуждающе смотрят. Вот ты, сказывают, Еремей, не видал, так молчи. А скажешь, и барыни не было? И шалей она Черту не продавала? С мешком наезжала Андреевна. Семь шалей продала, мы и цвета, говорит, тебе скажем. Махнул я рукой на баб да на рассказы их тогда, а зря. Дуры-то дуры, что ни что, а цвета они правильно запомнили...

А все ж рисовалась мне иногда картина, бабами рассказанная. Гостиная, мне известная. Ни лампадки, ни свечечки; нет и угла, на который лоб перекрестить бы можно. Неведомо откуда падает неверный свет пламени. Елисеева в сторонке, молчаливая да испуганная (такую еще испугай, попробуй!). И Черт, выбирающий шали из мешка, придирчиво их рассматривающий. Первую он отложил небесно-голубого цвета. Цвета неба, свысока на тебя глядящего...

Ну, и ребяташки на селе любопытные есть, а как же без них, как без ребяташек-то. И вот что сорванцы удумали, по примеру взрослому. Стали за Чертом этим приглядывать. Не один день у окошек выстояли, не одну ночь. Поначалу просто сердились: пойдут за ним, как он в бор шмыгнет, и идет-то не один малец, а несколько. Вот вроде видно Черта этого, вот он, за тем кустом боярышника, всем же видно. И оглядывается, будто чувствует, что выслеживает кто. И вдруг: раз! И нету его! Как сквозь землю провалился...

Решил и я сходить, посмотреть, что в доме барском творится. Я в том доме не чужой. И ключ у меня свой имеется, а как же. Служил Еремей и дворецким, пока барин в столицу не уехал. На меня и дом оставлял. Мой ответ, коль что случись.

Ну, инспекция моя удачная оказалась. Жильца не застал я дома. А следы пребывания его имелись. Постель барская расстелена. Яблоки на столе, в большой глиняной чаше. Не видывал красных таких-то у нас, где и брал жилец, не придумаю. Книга на полке у камина. Сочинения Аристотеля. Полистал я ее: непонятно. Кажется, по-русски написано. Ан, только что кажется. Если б по-немецки было, и то понятнее, слова б знакомые нашел...

Пошел я успокоенный из барского дому. И следов нет поедания младенцев...

Пошел по двору. Мимо Двух братьев шел, рукой оголенного ствола коснулся по привычке давней. Солнце пробивается сквозь листву поредевшую. Только того и гляди, сядет. А пока розовым и багровым, а еще лиловым на облака ложится.

«Два брата», это чинар, что растет во дворе барском. Пришлец чужестранный. Во времена Петра Алексеевича, Великого, опять же, завезен в наши края: по приказу его. Велено было вырастить саженцы: зело дерево могучее и красивое.

Тогдашний барин, прадед нынешнего, расстарался. Чего только не делалось, чтоб будущего великана спасти. Один только и вырос, выжил в краях наших. Разделился на высоте роста человеческого на два ствола, в разные стороны устремившихся. Вот и называем братьями.

Тот ствол, что общий для братьев, могучий, в обхвате широкий, да и собственные их стволы оголены. Нет коры на них. Бабы слово чужое не запомнили. Бесстыдницей дерево называют еще: раздето, мол, открыто взору.

Коснулся я рукой ствола. И тут из-под самых ног раздался не то писк, не то плач. Дернулся я с перепугу в сторону. Волосы дыбом на голове. Как у кота, с соперником прямо на крыше родной встретившегося.

У самой земли, откуда ствол идет необхватный, дыра. Дупло такое, что мы, мальцами еще, в нем прятались. По двое помещались. С барином нынешним. Давно это было.

И впрямь там плачет кто-то. Наклонился я до земли...

Батюшки-светы! Да ведь это...

Лохматый, ой, какой лохматый! Сам мал, ростом с дитя трехлетнее. Ноги малы, руки велики. И руки, и ноги в шерсти, и лицо. Борода до колен самых. Уши торчком. Рубаха алая, препоясан. Кутный бог! Домовой, голбешник [4], однако...

Господи, как домовый человеку проявится, жди беды!

А этот еще ревмя ревет. Плачет, аж на душе кошки заскребли.

В три погибели согнулся, колени поджал, руки сложил на груди. Трясется весь.

Стал спрашивать:

– Что, избенной большак, неужто с барином нашим что? Не томи, раз ты мне показался, так сказывай...

У него слезы градом:

– Нешто барину твоему, Ерема, – говорит. – Такому что сделается-то?

– Чего же ревешь, коль и сказать нечего?

– Не скажу, он меня накажет. Страшно-то как... Забери меня отсюда, Ерема, забери! Век тебе служить буду.

Вот те раз! Забери его отсюда. Я своего извел в дому. Человек я церковный.

– Мне, хозяйнушко мохнатый, чужого не надо. Ступай-ка в дом барский, служи, как служил.

– Не пойду! Не пойду, – сказывает нечисть. И скулит, как щенок побитый. – Семь смертей там Ерема, и семью семь еще, на семь умножается. Страшно мне, Ерема. Я людям честно служил. Я домовый настоящий...

Что с этаким делать? И бросить стыдно, и брать нельзя. И что в доме барском, впрямь, творится? Кто мне скажет? Этот вот отказывается.

– Мне кота надо в доме. Одному скучно. И мыши в подполе скребутся, – сказываю.

Мать честная!

Только был лохматый, домовый, да не чистый. А какой кот справный из него получился!

Гуня его зовут, сибирской нашей породы. Сам большой, круглый, кисточки на кончиках ушей как у рыси, цветом серебристый, манишка на груди белая, хвост пушистый. Не кот, а красавец.

Взял я кота на руки, домой понес. И знаю, что согрешил. А оставил бы... кто знает? Может, и того более согрешил бы...

А отроки наши и дальше за Чертом приглядывали. По-настоящему же испугались мальцы, когда зима пришла. До того игра им была: пошли за Чертом! И пошли. А пропал он, найдется ребятне занятий. Леса наши на улов разный богаты. И грибной, и ягодный, а потом, коли делать нечего, лозы ивовой срезал, лукошко свил; это у нас каждый умеет. Такие-то вещи из лозы делаются, окромя лукошек. И на продажу в город носим-возим. А там птицу в силки поймать, опять же; ежа, белку... да искупаться, коль тепло. Найдется дело, помимо Черта этого, летом и осенью.

А зимой в лесу-то делать нечего. И снег ложится. И пошли мальцы по следу, а в снегах-то, как Черт пропал, и следа не нашли...

Вот он, след, четкий, глубокий. А в этом-то месте пропал. И нет его нигде, каждую пядь обыскали, – чисто. Прыгал, что ли? Как же прыгать-то надо, чтоб и на десять, и на двадцать шагов, и на тридцать вокруг никакого следа не осталось.

Испугались ребяташки. Не сразу и пожаловались со страху, а уж когда пожаловались, схватились наши мужики за колья да вериги, собрались в барский дом бежать, Черта убивать.

Прокопий, староста наш, он, хоть сединами убеленный, да крепкий еще мужик, что на тело, что на голову; так ведь и недаром всем сходом ставили; ни разу еще и не пожалели. И в сей раз тоже помог. Вот он и говорит нам:

– Мужичье вы, мужичье, деревенские люди, лапотники! Как вам с Чертом сражаться? И когда это с кольями да веригами против нечистого шли, где такое видано?

И впрямь, на лукавого с мужицким подспорьем. То не Бонопарт Наполеон...

А Прокопий и лекарство подсказал. Самое что ни есть народное, потому действенное.

– Церковь нам строить надо. Каменную, большую, как положено. И попа надо. В нашей глуши не приживались они, а надо бы нам батюшку. Причт, хотя бы из попа да пономаря. Да приход составить батюшке, большой и дружный. Вот тогда с Чертом и справимся.

Легко сказать, построить церковь каменную. Края наши не бедные. И хоть в крепости мужики, в туге, но работа у кого в руках спорится, у того и деньги водятся. Не такие только большие, чтоб каменную церковь отгрохать. Начнем строить всем миром, ввяжемся, там и увязнем.

Стали думать. И надумали.

Одна надежда, свой мужик крепостной, что от барина нашего выкупился, за деньги немалые. Пусть они и напрасные для барина оказались, а мужик наш в купцы выбился, человеком зажил. В Санкт-Петербурге самом теперь. Детки у него, четверо уж ребят, один к одному, глянешь, в красивых кафтанчиках таких, толстошекие. Жена, вся в перьях, в кружевах да бантах, в перстнях жемчужных, что распирают пальцы. Волосы-то промаслены, расчесаны на прямой пробор, золотошвейным платком прикрыты. Лицо нарумянено, глаза сурьмой подведены. Красота, что твой лубок! Демид наш – первая надежда.

А вторая, то барыня та же Елисеева, да сестра ее Шишкина, что Надеждой Андреевной зовут. Их просить надо.

Государыня на плечах своих платок за двенадцать тысяч носит, Елисеевой сотканый. Государь император накидочку голубую с золотой каймой. За которую Шишкиной серьги подарил, не простые, а бриллиантовые. За тысячу рублей да пять сотен еще полновесных. Не бедствуют сестры.

– Садись, Еремей, письмо писать, – сказали мне мужики наши. – Тебе оно привычно.

А и впрямь привычно. Четыре года в двуклассном училище Святейшего Синода, не хотите ли, отучился. Закону Божьему обучен, церковному пению, чтению книг церковной и гражданской печати, письму и арифметике, с историей русскою знаком, географией, черчением да рисованием тоже не понаслышке. В доме барском, где Черт теперь сидит, я каждый закуток знаю, был когда-то Еремей нужен. Прошли те времена.

Настрочил я письма. Чего не написать-то, мой хлеб.

Перекрестили лбы выборные Федор да Прохор, поклонились обществу, пошли ходоками от мира: поначалу в Семидесятное да в Андреевское, а там и в Санкт-Петербург.

Сплетничали бабы: не даст Елисеева денег. Она-де к Черту сама наезжала, говорили, семь шалей привозила. И продала. Зачем ей с Чертом-то ссориться? Что ей Нижнедевицкий уезд, она семидесятинская.

Так они и Демида оговорили, бабы наши. Жаден, говорят, стал Демидушка, в городе поживши. Он ныне не морс да не квасы гоняет, чай пьет, травку китайскую, с блинами да калачами, сухарями да ватрушками, с булочками да вареньем. Не до мужицкой ему беды, не поделится. Не пустит и на порог ходоков наших.

А ввали бабы! Зловредное семя. Дали нам денег. И Демидушка, и барыни дали. Над барынями Демидушка посмеялся, над размахом-то ихним. К Черту сама ездит, говорит, Андреевна, чтоб шали да платки продать. Мелко плавает. Мне-то говорит, не надо этого. Я теперь по Голландиям и Хвранциям разъезжаю, там не до чертушки...

А из Санкт-Петербурга прислали нам этого... зодчего, если по-русски. Если по-иностраниному, по-ученому, то анхитектора. Нет, верно, аптихектора. Или, может, архитектора...

Не учили меня такому слову, а мужиков наших и тем паче.

Пусть зодчим у меня побудет, чай не в Европах сидим, в России-матушке!

Молодой зодчий-то, летов этак под тридцать ему; в белом шерстяном бурнусе расхаживает. С бабами уважительно, с мужиками по-свойски. Ребятишкам вот понравился. Он им игрушки по-новому построил. По чертежам да расчетам. Приделал леску к дощечке. Он ею

управляет. Ходит кукла, кривляется, корабль плывет, телега едет, колеса вертятся. То-то радости мальчикам!

А свет и в его горнице горит ночами. Только то свечка. Лампадка в углу под образом. Работает зодчий. Игрушку режет или чертит план какой-то. По его словам выходит, что церковь должна в окрестность... вписаться. Чтоб совпадали они. Чтоб друг друга дополняли. И чтоб в воде озерной церковь отражалась. Чтоб из нее вторая церковь поднималась. Так-то.

Я его одним из первых увидел, как к нам шел. Раненько я встаю. Первые петухи отпели, а те, что ленивы да сонливы, еще и не кукарекали. Идет зодчий по дороге, солнце поднимающееся из-за спины его греет. Улыбается зодчий. Хорошо ему. Котомочка за плечами простенькая. В руке сума красивая такая, лакированная, дорожный саквояж называется. Наши в Петербурге видали. А в Воронеже еще не ходят так-то...

Ну, про него не скажешь, что младенцев ест. Я-то точно знаю, что ест он пироги, что Авдотья моя печет, да борщи ее знатные. И яблочки наши моченые хрумкает, и капустку тож, и грибами не брезгует. Потому как сход постановил жить зодчему у меня в горнице. А я что, я не против. Мне интересно; и все ж не одному дни коротать.

Он недели две просидел над чертежами. Там деньги пришли. Камень завезли. И пошла работа. Деньги деньгами, а строить надо миром. То, что миром задумано, то миром и сделается.

Зима у нас не самая долгая и злая, в Рассее и подольше бывает. Снега опять же сходят раньше. А только скучает зимой мужик по работе настоящей все одно. И весной он работяга, как зимой сидельцем был, искренний. Про Илью Муромца все слышали?

Не работали, нет; не знаю уж, как и назвать. Всем миром навалились. Как голодные, право слово. Два раза только и оторвались от работы. Как яровые сеяли и как озимые собирали.

Уж и фундамент построили. И стены стали возводить. А тут лето на дворе красное.

И поехал наш барчук в город Воронеж. Дней на пять-семь, как сказывал. Известно, дело молодое. Надоело ему сиднем сидеть в деревне. Хочется и на барышень воронежских взглянуть, и в театр сходить. Оно, конечно, девки наши краше, да дуры неученые. И театр тоже; по мне каждый вечер, как солнце в озера садится, вот тебе и театр. Всякий раз по-новому. Но! Много способствовал исправлению нравов, облагораживанию чувств и просвещению, как говорят, театр наш Публичный. Надо бы и посмотреть.

Зодчий Данила в город. А у нас беда случилась.

Ребятишки у нас пропали, как зодчий уехал. Они, семеро числом, с церковного двора и не уходили, кажись, с первого дня. В рот Даниле заглядывали, каждое слово его за Закон Божий держали. Домой не загнать было; и в поле не ходили со всеми, один ответ у них: Даниле-зодчему помогаем, церковь строим. Что тут скажешь? Не мальцы самые, а взрослее ребятки-то. В том самом возрасте, когда неслухами становятся; скоро и взрослыми станут называться. Им не возразишь, ты им слово, они тебе два в ответ.

Данила-зодчий в город, парни в лес. И пропали.

Искали их день, второй. Третий искали. Матери в слезах; отцы, которые в наличии, браются, обещают выпороть прилюдно, чтоб неповадно было более скитаться по лесам; хоть вроде уж и стыдно пороть, не маленькие, скоро и женихаться ребята начнут, коли найдутся.

А сами в сторону отвернутся, да тоже, нет-нет, слезу скупую утрут. Чтоб не видел никто. К исходу пятого дня, когда уж все боры облазили, все озера обошли, в каждую избу стукнулись, из отчаяния снова за колья взялись мужики. Дошли-таки до барского дома, дошли, и каждый уж закуток в доме обошли, грозясь кулаками. Ни следа житья человеческого, пуст дом, и Черта как ни бывало.

Хотели уж красного петуха пустить, гори, мол, гори ясно, приют бесовской, лукавый...

Прокопий не дал. Не свое, барское. Рано или поздно ответ держать. Кому и держать, ему в первую очередь и мне, грешному.

А нашлись ребята-то! Сами, сами пришли!

Голодные, исхудавшие, оборванные, измученные вконец, появились как-то в деревне, пошли-пошли по улице, шатаясь...

О порке и речи не было. Расхватили их матери, накормили, обогрели; спали парни дня два, а то и три каждый. Потом притащили их насилу на сходку мужицкую, поставили, говорят, рассказывайте! Не бабы тута, мужики, и знать хотим, в какой такой лес крестьянский сын уйти мог, чтоб плутать неделю целую, носом дома не почуять, не вернуться. И кто ж вас по лесу водил, какую дорогой поганой, и кто вывел на правильную.

Переглянулись ребята. Между собой глазами перемолвились о чем-то. Кивнул старшой их, Никола. И стал рассказывать.

Ну, Данила-зодчий, известно, в город. А этим-то что делать? Давай опять за Чертом приглядывать.

К вечеру и пошли приглядывать. А как же? При деле, значит.

В тот вечер, синий-синий, ребята сказывали, не только что липы, все округа в синей мгле лежала. Трудно было Черта выглядывать, и без того легкого на побег. А все же долго он их водил, не исчезал. Появлялся, снова скрывался. Парни говорят, иногда в синеве этой казалось, что две черные фигуры ведут их, когда и три. Словно раздваивалась тень, а там и троилась. Будто хотела разбросать их по лесу, раскидать поодиночке.

Сумерки сгущались как-то быстро. Не растеряли они друг друга, кто их знает, может, обманули бы глаза, да ухо не подвело. Пересвист они какой-то затеяли, привычка у них давняя, все в разбойников играли мальцами, в Кудеяра да Соловья, тут и пригодилось.

А когда, как и всегда, пропал Черт вовсе, сбились парни в кучу, стали оглядываться по сторонам, вот тут им что-то нехорошо сделалось. Места незнакомые. Лес какой-то густой, непроходимый, как и шли раньше, непонятно. Что вперед, что назад идти, всё чаща непролазная. И уж луна выползает, большая, шаром. Вся округа в сине-черном, пугающем цвете. Самая ночь для лешего.

И вот, как луна совсем вылезла, вдруг стал аукать кто-то. Потом в ладоши хлопать, пересмеиваться...

Никола, старшой, креститься парням не разрешил, хоть у тех губы дрожали и руки сами в шепоть собирались. Незачем, говорит, лесного дядьку пугать. Договориться миром лучше.

Поклонился он в пояс, да говорит:

– Лес честной, лес праведный [5], хозяин, выведи нас, крестьянских детей, из своей лешей земли. Мы тебе не враги, мы костров в твоём лесу не жгли, веток понапрасну не ломали, без толку и смыслу живого не губили. Мы лесом твоим, дарами твоими щедрыми, жили и жить будем. Пожалей нас, дедушка, молодые еще...

До сих пор было страшно, мороз по коже, а стало еще страшней.

Вышел к ним леший. Старичонка, седой, как лунь, с бородой зеленой, даже в неверном свете луны видно, с глазами белыми, блестящими. Армяк на нем темно-серый или синий, ноги в лапти обуты, да преогромные. Кнут в руках.

Вот кнутом этим он им на дом-то и показал, которого раньше почему-то не видели. В стороне, справа, в окошках огонь светится, призывает. Показал да и сгинул, синеобразный [6]...

И понеслись ребята к дому, словно сам Черт теперь охоту за ними вел. А может, так оно и было...

Дом не дом, а хоромы с теремом расписным. Да парням не до этого, анхитектура эта им в то время ни к чему была. Застучали, забили в ворота кулаками, открывайте, люди добрые!

Окошечко в калитке высокой приоткрылось, высунула сизый нос свой в него бабка старая, патлатая, непричесанная да неприбранная. Заругалась на парней.

– Что это вы, такие-растакие, тут ходите! Ночь уж на дворе, а вы в дом чужой ломитесь, а как хозяин-то на это посмотрит.

Взмолились парни:

– Бабушка, тыпусти нас! Мы люди не лихие; не страшные тебе. Из деревни, из Липяг Синих, крестьянствовали отцы наши и деды, мы тож так будем. По лесу долго бродили, заплутали маленько. Пусти, родимая, переночевать, а там, утречком, мы и сами не уйдем, – убежим. Насмотрелись страстей-то...

Она им и говорит:

– Еще не всего насмотрелись, здесь и увидите. Идите-ка подобру-поздорову отсель, пока отпускают.

А куда идти-то? Уж не синь, уж чернота кругом; лесная нечисть где трещит, где вскрикивает, где ухает, где смеется, где плачет... Страшно!

Упросили. Пустила она их.

А в горнице-то у бабки, куда она их привела! Вот уж прямо в сказку попали наши ребята, иначе не сказать.

Стены в лепнине золотой изнутри, в павловском розовом граните. Горит камин, стоящий в середине горницы, с топливником, открытым со всех сторон. Это уж потом Данила-зодчий сказал, что швейцарским такой зовется али альпийским. А вокруг камина рассаживают на мягких стульях, английским ситцем обитых и резьбой украшенных, красавицы. Числом семь, и глаз от них не оторвать.

Одеты все одинаково, в черное. Платья с глухим круглым воротом, с бантиком на шее. На плече широкий рукав фонариком, у запястья сужен, пояс широкий, юбки на кринолине. Это совсем по-немецки все было бы, когда не одно «но».

На плечах у красавиц шали с бахромой. И тут уж многоцветье, глазу приятное. Голубая, желтая, красная, фиолетовая, зеленая шали...

Привстали красавицы, парней наших завидя. Не наши девки, не станут подсолнечник лузгать да плевать в сторону. А по-иностранному, как в Воронеже в домах приличных, присели в поклоне. Каждая свое имя назвала. И опять немецкие имена-то, что ли, не понять парням, не запомнили толком. Опять же Данила-зодчий, ребят порасспросив, мне, глупому, опосля сказал, как их звали. Я их записал, как зодчий показал, вот они, имена эти, как есть, а разговор о них не тут будет. Superbia, Invidia, Ira, Acedia, Avaritia, Gula, Luxuries. Тьфу, тьфу, бесовская сила, сгинь, рассыпья...

Никола один только поначалу и догадался. Сметлив оказался парень, даром, что крестьянский сын.

Зарябило в глазах от шалей тех, понеслись мысли в головушке. Вспомнил он болтовню баб, про то, как Елисеева к Черту приезжала. Девы эти, они же чертовы дочки!

Остальные-то и в ус не дуют. Давай с красавицами приятные разговоры разговаривать. Они по-русски хорошо знают, хоть неметчиной и в доме, и от них самих за версту несет...

А бабка патлатая уж и пироги несет, ворча. Калачи, ватрушки. А в чашках фарфоровых, с золотою росписью, китайскую траву заваренную. Горькая она, правда, да парни от сладких-то разговоров с красавицами и чай попили в удовольствие. Это после страстей давешних, от которых едва ноги унесли, христианские души спасая, оно и вовсе ничего.

Только недолго так рассаживались. Поначалу решили: гроза это. Как стал гром громышать, молнии за слюдяными окошками терема вспыхивать.

А вот красавицы-то испугались, видно. Бабы, они молонью завсегда боятся, от грома приседают. Да что бабы, и мужики наши крестятся, говорилось уж.

Парни наши расхрабрились, мол, неча тут такого, дело привычное, стороной пройдет. Стали смотреть по углам, шариться, икону искать, чтоб перекреститься. Ан нет, нет в доме светлых образов.

И красавицы в ответ:

– Ой, не пройдет. То батюшка!

И стали ребят в спаленку свою тащить:

– Быстрее! Прячьтесь от батюшки, он людей не любит...

А вокруг и впрямь что неладное творится. И земля колыхнется, и хоромы дрожат. А малыши прямо в окошко заглядывают. Как в звездопад звезды летят, так тут зарницы.

В спальне, куда девы их запихнули, и успел Николушка своим рассказать, в каком доме уют нечаянный они обрели. Не обрадовались деревенские, ой, не порадовались...

Черт в калитку заколотил, кричит:

– Открывай, жаба бородавчатая! Открой, а то калитку разворочу, двери расколочу, стены порушу.

Та медлит, поскольку девы быстро по терему снуют, чашки да тарелки лишние уносят, чтоб гостей не заподозрил батюшка.

Но открыла все же. Черт ее в сторону-то отшвырнул, прошел в горницу.

Встал посреди, у камина альпийского, нос морщит.

– Русским духом тут пахнет. Али ошибаюсь, доченьки?

Те в голос один:

– Ошибся, батюшка, ошибся, откуда ему тут взяться? Ты нас в лесу глухом поселил, от людей спрятал, мы тут день-деньской слезы льем, в одиночестве горьком...

Сами к стульям мягким, к ситцу английскому, приросли. Спины прямые, глаза бегающие, руки дрожат...

Покачал Черт головою.

– Врете, говорит, я вас знаю.

– Не врем, батюшка, не врем, как мы тебе-то, мы тебя вот как чтим! Это ты из деревни русский дух принес. Вот и шали наши, опять же, подарок твой драгоценный, пахивают. Иначе и быть не может, девки русские над ними пять лет склонялись, руками своими на веретенцах их ткали, вот оно потому и пахнет тебе.

Присел Черт на стульчик мягкий. Потянулся к чашке с чаем китайским, что бабка подала. Да как хлопнул фарфором об пол, брызги во все стороны!

– Пахнет мне духом русским! Отовсюду пахнет!

И пошел по светелкам рыскать.

В спальне и нашел ребят. Те встали в ряд, рука к руке. Николушка только чуть впереди. Он старшой, за всех в ответе. Правильно это...

Кинулся бы Черт на них, верно. Растерзал бы.

Только встали на дороге его красавицы. Кто за шею обнимает, кто в ногах валяется, кто руки целует.

– Батюшка, родненький наш!

Плачут, целуют, уговаривают.

– Нельзя нам без людей, батюшка, ты знаешь, мы им предназначены, людям, с ними повенчаны, нам без них никуда, угаснем ведь, сгорим свечечками...

Развернулся Черт. Ушел из терема вовсе, дверями по дороге хлопая. А калиткой так прихлопнул, что сорвал ее с петель вовсе, повисла на одной, скрипя...

Обрадовались деревенские. Вовсе пир горой пошел у них с красавицами. Забылись все страсти, что пережиты.

Но, как ни малы крестьянские дети, как ни крепки, а сон с ног валит к полуночи. Затеялись спать. Тут Николушка удивил всех.

– Дозвольте, говорит, девицы, сынам крестьянским до конца порадоваться, по полному разряду. Положите спать нас в своей спальне, да шальями своими укройте. От смерти спасли, от холода ночного и голода, от нечисти лесной укрыли, от батюшки вашего. Выполните и это наше желание. То-то сны нам будут сниться на перине, разочек в жизни, может, и порадуемся.

А девицы что же, им приятно. Поменялись спальнями; а там и шальями на шапки. И нам, говорят, интересно. Нам тоже крестьянские сны не снились еще никогда, нам в охотку...

Хитер Николушка, хитер; он на чертову злость и опрометчивость рассчитывал. И не ошибся, крестьянский сын.

Ворвался ночью Черт в ту спальню, где постелено было парням, да снес головы в шапках крестьянских, не утруждаясь проверкой. Русским духом, видно, и от шапок, что на головах у девиц, несло...

Николушка всех разбудил, рассказал, что случилось. Он ведь глаза натер пряностями заморскими, что на столе у красавиц были. Глаза от слез вытер все, да не спал.

Собрались все, да потихоньку, полегоньку, стараясь не потревожить бабу и Черта, из дому-то выбрались.

А идти-то куда? Скоро уж свет, да петухи запоют, можно тогда нечисти не бояться лесной, а покуда она в лесу правит.

Как от дома отошли чуть-чуть, отбежали, снова Николушка надумал верное.

Поясной поклон опять, да в слезы!

– Дедушка лесовик! Не в обиде мы на тебя, что в чертов дом нас привел; ты пошутить любишь. А мы посмеяться. Только помоги и в этот раз, родимый, выручи. Что тебе и пообещать, не знаю. Давай уговор класть между нами; чего хочешь, проси.

Раздались в лесу уханье да хлопки в ладоши, только не показался им лесной. Тогда Николушка снова в поклон. И так-то говорит:

– Дядя леший! Покажись ни серым волком, ни чёрным вороном, ни елью жаровою, покажись таким, каков я...

Глядят, а вот он, леший. Сел на пенек, в руках лыко, вяжет лапоть, да огромный такой, словно лодка.

Николушка подтвердил уговор. Чего, говорит, есть мое у меня, да у ребятушек моих, а ты попросишь, дадим...

Встал леший с пенечка. В руках лыко у него. Стал плести, быстро-быстро, руками перебирая перед собою. И встала вокруг ребятишек чаща, такая уж, не двинуться, не повернуться. Закрыла их чаща нежданная, спрятала от терема. Но и сами уж они выбраться не могли. Уж и не помнят, как прожили все это время. Ломя кусты, через пни перелезая; плача и ругаясь.

Лишь на седьмую ночь, под утро, пали вдруг кусты и деревья, как не было их. И запел петух деревенский. Поняли парни, что закончились чары лешего, а Черт их перестал искать. И пошли-пошли в деревню тихонечко. Оказалось, рукой до нее подать...

Подивились мужики такому рассказу. Э... нет, мы люди неученые, у нас неверию взяться неоткуда; мы сердцем поверили. Кто из нас лешего не видел, на ветках качающегося, а то еще лешачиху его. Баба патлатая, оборванная, зеленые веточки в волосах, а грудь такая большая, что она обе за спину забрасывает, только тогда и может бегать. Волосья у нее такие, куда девкам нашим! В них лешаночок греется, прячется в них. А черта и тем паче знаем. Он всегда рядом где-то, где мужик...

Не в том дело, что не поверили. А задним числом подивились тому, как спаслись деревенские. Покачали головой мужики: дай-то Бог, чтоб все этим закончилось. Мы б молебен благодарственный отстояли, только негде и некому его служить, в том и беда наша.

Даниле-зодчему еще раз наказали: мы-де, тебе всем поможем, ты нас не жалей, строй скорее; а то дела невеселые на деревне. Черт нам теперь не брат. И доселе от него страдали, теперь более страдать будем.

И правы оказались мужики. Начались дела такие...

## Глава 1

Стали парни наши меняться, норы своей показывать, кто в чем.

Все с Николушки началось. Сколько матушка его, Дарья Дмитриевна, ныне вдова, слез когда-то пролила, – то и впрямь ни в сказке сказать, ни пером описать. Он у нее вымоленный был. Никак не могла баба затяжелеть, а ребеночка хотелось. Все бегала к источнику, есть у нас такой, Николы Угодника. Вода его от всякой беды. Вот и от этой тож. Уж немолода была, как затяжелела, а сыночка любимого Николой и назвала, по тому источнику значит. Ей и знать, как Угодник помог, то не наше дело.

Николушка и всегда заводилой был среди ребят. Он себя старшим чувствовал. И ум даровал ему Господь, и волюшку. Вона как и себя, и других детушек из беды вытащил. Не каждый бы мог. А он сумел...

Только вот это стало его бедою. Загордился наш Николушка.

Прежде всего, обидел он лешака. Нехорошо это: не давши слово, крепись, а давши – держись.

Был уговор у него с лесным. Дам, мол, тебе то, чего захочешь. Только спаси меня, сына крестьянского. Был, был уговор...

Что ж, что нечисть лесная, что от лукавого уговоры такие. Знаем, но грешим. А из всех прочих леший нам друг, когда мы его не обидим. И стада пасет наши. И подарки нам лесные дает.

Как-то Николушка ехал ввечеру на телеге, один. Вез камушек для церкви, мимо леса и ехал. Хотел кто-то из ребят заскочить, присесть рядом. Так Николушка не дал. И без того отцовской лошади тяжело, сказывает. И не надобны мне попутчики.

Задумывался парень о чем-то, сильно задумывался. Перестал общество любить. Навернет на шею голубую шаль, что от чертовой дочки осталась, укутается в нее, грустит. По правде говоря, нехорошо с красавицами вышло. Жаль, видно, Николушке ту, что ему улыбалась. Плохого ничего не сделала ему девица, а погибла по его вине.

Тут зафыркала лошадь, заржала. Встала посреди дороги, и как Николушка ни стегал, она ни с места. Вроде старается, хочет воз везти, тащит, напрягается, а двинуть не может. Николушка ничего лучшего не нашел, как спрыгнуть с телеги, мол, легче станет. Только лошади Николушкин вес что пух, а не дает ей сдвинуть телегу иное нечто. Стал Николушка догадываться. Лошадь глазом косит, пугается, тщится убежать...

– Покажись, дядечка, – попросил Николушка. – Не пугай меня.

Глядь, а сидит у него на телеге дядька лесной.

В глаза он не смотрит, отводит взор. А пальцем на шею Николушкину указывает, где шаль.

– Шел, нашел, потерял, – сказывает.

Побледнел Николушка. Жалко ему от девицы последнюю память отдать. Матушка, вон, сколько сердилась, грозилась в печи сжечь вещь нечистую. Он же ее хранил и берег, без нее не ходил никуда. Спал с нею. Пусть смеются, с посмеху и люди бывают...

А тут отдай!

И согрешил еще раз крестьянский сын, отступился от слова своего. Глаза закрыл, чтоб не видеть лешего, и стал быстро-быстро шептать слова такие:

Живѣи в помѣщи Вышняго, в крѣве Бѣга небѣснаго водворѣтся. Речѣт Гѣсподеви: Застѣпник мой есѣ, и прибѣжище моѣ, Бог мой и уповѣю Нань. Яко Той избѣвит тя от сѣти лѣвчи, и от словесѣ мятѣжна. Плещьма Своѣма осѣнит тя, и под крылѣ Егѣ надѣешися. Оружие обыдет тя истина Егѣ, не убойшися ѣт страха ношнѣго, от стрѣлы летѣюща во дне. От вѣщи но тме преходѣюща, от сряцца и бѣса полуденнаго. Падѣт от странѣ твоея тысяща, и тма одеснуѣ

тебѣ, к тебѣ же не приближится. Обаче очима своима смбтриши, и воздаяние грѣшником узриши. Яко Ты Господи, упованіе мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не придет к тебѣ зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповѣсть о тебѣ, сохранити тя во всех путѣх твоих. На руках возмут тя, да некогда прѣткнеши о камень ногі твоея. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и, покрью и, яко познана имя мое. Воззовет ко Мне, и услышу и, с ним есмь в скорби, изму и, и прославлю его. Долготу дней исполню и, и явлю ему спасение Моё. [7]

Сам я мужицких детушек Псалтирь читать учил. Вот, пригодилось.

Бормотал Николушка слова сии, а известно, что псалом это, от нечисти всякой особо помогающий, да крестился. Глаза прижмурил, а уши-то не закрыл. Слышал он, что плакал дядька леший, как дитя малое плачет. Жалобно так, обиженно.

Закончил Николушка. Глаз приоткрыл свой, скопил на телегу. Нет там никого...

А дальше уж легче у парня пошло. Лиха беда – начало.

В лес он теперь ни ногой, там ему хорошего не жди. Каждая коряга цеплять начнет, каждая шишка по голове; жди медведя аль волка, аль еще беды какой. Какая ему теперь охота: птица из силка вырвется, белка стрелой улетит, еж укатится. На озеро, окунуться в жару, так то тоже лес. И рыба озерная ему теперь не попадет на крючок, не жди. И грибов не встретит, и ягода осыплется с куста...

Вот и стал он ребят, что его своим заводилой считали, обижать.

Не стану ходить, сказывает, с вами, ишь, чего придумали. Вы, мол, в беду попадаете, а я вас выручай. У самих-то в голове ветер. Без меня пропадете все.

И вот так-то дальше. Сплюнут ребятки, махнут на него рукой. Повернутся, пойдут, а он от обиды и безысходности вслед еще что злое скажет.

Откуда мне то ведомо? А Николушка Даниле-зодчему повинился. Я, старый, слышал.

И ответ Данилы запомнил.

– Гордыня, – сказал зодчий, – Николушка, смертный грех человеческий. Грех, убивающий душу, отлучающий её от Божией благодати. Он неизбежно влечёт за собой и другие грехи. Борись с собой, Николушка.

И рассказал он парню, с кем пришлось встретиться ему в лесу у Черта. С Гордынею, с Завистью, Чревоугодием, Блудом, Гневом, Унынием, Алчностью.

То-то я, старый, знакомое что-то услышал в именах чертовых дочек! Немецкий, немецкий! Мужики, лапотники, дело известное, чего и ждать от них. То ж латынь была!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.